ЛЕРМОНТОВУ – 200 лет

Глава из романа "Лермонтов, или бабочка Бредбери"

Что – главнейшее не явленное нам, погибшее в Лермонтове?

В знаменитой новелле Рея Бредбери "И грянул гром" незадачливый путешественник в Прошлое раздавливает в мезозойском лесу бабочку – всего только красивую бабочку. Это приводит к непоправимым последствиям в Настоящем: возвратившиеся путешественники не могут его принять; виновник подлежит смерти. "И грянул гром". Этим заключается новелла. Символика новеллы не во всём тривиальна: бабочку не воскресить, но жестоко непоправимы оказываются и глубокие взаимосвязи, – неужто же не покрываема массивом будущих рождений какая-то бабочка? Вместе с тем в новелле впечатляюще прозвучал мотив *неединственности*, вариантности истории. Мы попытаемся использовать образ бабочки американского фантаста для нашей русской темы.

Но понадобится и вторая тема, чтобы организовать пересечение. Тут я с досадой отмечаю, что совсем не хорошо знаком с отечественным литературоведением: я постыдно запамятовал имя искусствоведа *(П.Перцов?)*, который разделил русские литературные направления XIX века на два, определив их как "эвклидово" и "неэвклидово", по аналогии с геометриями! Согласно этому делению, направление "эвклидово" отвечает гармонизированному художественному пространству. Из великих творцов это Пушкин, Тургенев, Островский, Гончаров, Толстой. (А.Н. Островский отчасти принадлежит и к иной, третьей литературе, о которой ниже.) "Неэвклидово" – это, стало быть, искривлённое, расщеплённое… (не просто пространство – искривлённое, расщеплённое взглядом – а бесспорные, между прочим, типы и куда какие верные изгороти и коллизии, выхваченные этим взглядом!) – это, конечно, Гоголь, Достоевский, в некоторой части Щедрин ("Головлёвы"). В эту классификацию на самом деле "не идут" ряд крупнейших имен (той самой "третьей" литературы, о которой позже), но межа выражена замечательно хорошо!

Кто же тот, кто опущен в обоих списках… и в обоих есть?!

Поэзия Лермонтова, то, что он *успел,* – почти целиком "неэвклидова": и лирика, вершинные образцы которой – "Три пальмы", "Дума", "Завещание", "Валерик", "И скучно и грустно", "Не верь себе", "Сон", "Морская царевна", "Выхожу один я на дорогу", "Пророк" и ещё многие, а за 40-41-й годы, за двумя-тремя исключениями, все – как-то затруднительно отнести к гармонизированному миру; и ещё более поэмы, за единичным исключением "Песни о купце Калашникове". Хотя и тут трагизм явлен в судьбах сразу троих героев, но они цельные люди своей эпохи. (Можно бы исключить и "Боярина Оршу", и "Казначейшу", и "Монго", – но что-то неизменно тяжёлое, тянущее за сердце слышится даже в двух последних.) Трудно мотивировать это ощущение, обосновать вообще это "геометрическое" толкование – ниже я всё-таки попытаюсь выразить его яснее. (Но отмечу, что есть у него и шедевры "эвклидовой" поэзии – и не только "Бородино".)

What is it – Григорий Печорин? (Не кто, а что?)

Лермонтовская "тень" или даже лермонтовский "труп"? – но это ещё как сказать; и покуда речь не о том. "Герой" – субъект почти антихристианский (государь-то Николай Павлович прав) – великий автор не доводит, правда, дело до производства Григория Александровича в натуральные герои (лишь иронически) – но! но! какова любовь к дурному?.. (а что есть "дурное"? это как понятие в нас – "императив"?? а как же! а как же! – через девяносто лет окажется, правда, что погубить чуть не двадцать миллионов крестьян во имя "гармонии" – то бишь, коллективизации – совсем не дурно, потому что "объективно", но до той поры всё-таки почти век впереди).

А между тем серьёзнейший в деле намечается поворот. Страдающий Печорин не просто живой (а никакой не "труп") и вызывающий сочувствие человек, он первый из этого ряда ещё и… понятен. Он – "лишний" (если только не лишние и все люди на свете), но, верно, нет читателя, который не следил бы с истинным удовольствием за дерзкими его проделками. Анализ дурного, почти антихристианского, исполненный с любовью почти христианской – тут сознательно, сильной рукой повернуто к *объяснению* от осуждения и морализма. Происходит это, в общем, в русле общеевропейском (скажем, почти одновременно со Стендалем) – что ж? поистине, кровью заплачено за простую истину: писатель – не прокурор! Скорей, адвокат…

Но далее.

Печорин, как и герои Достоевского, весь из самолюбия; роман вообще им пронизан – Грушницкий такой же, сама княжна Мери такова! "У меня врождённая страсть противуречить", – это вернейший признак героя Достоевского! (Сравните с Онегиным: "Хоть их не много понимал, прилежно юноше внимал".) Вот он, кажется, раздел! – ведь это "неэвклидова" литература?! Ведь так? Ведь верно?? – а между тем Максим Максимыч и обитатели Тамани, и Бэла, и Казбич – что это?.. (я только знаю, что больше такого не прочту). Эти люди – Максим Максимыч, Казбич, Бэла – люди цельные до сердцевины, в них нет намёка на трещинноватость душ "неэвклидовых" людей (*эти* люди появятся в "Казаках" Толстого). Печорин – лишь неэвклидов персонаж внутри более общего, включающего его как частность!

"Если бы был жив Лермонтов, не нужен был бы ни я, ни Достоевский", – уже упоминали мы эту фразу Л.Н. Толстого. И вот он, ключ к ней: Лермонтов в дебютном же романе обнимает и вмещает *обе* психологические геометрии – цельную и расщеплённую – а притом (заметим) он же первый вскрывает элементарную (диалектическую) природу последней. "Лишние" люди до Лермонтова – Чацкий, Алеко, Онегин – загадка, иногда почти пародия, Печорин ясен! – в той же мере ясны будут позднее извивающийся на полу Чичиков второго тома "Мёртвых душ", Иудушка Головлёв, Родион Раскольников, Свидригайлов, Ставрогин – люди, действующие вне веры и труда, застрявшие между злом и добром.

М.Ю. Лермонтов никак не менее Гоголя торил путь Достоевскому и никак не менее Пушкина Тургеневу с Толстым; более того – в нём (в "Тамани") видится основание и третьей нашей великой литературы – литературы (говоря условно) неприглядно-объективного, непредвзятого, как бы вне-идейного факта (из её творцов назовём только первейших: Островский, Писемский, Лесков, почти хроникёры Николай и Глеб Успенские, наконец, *реалист* Чехов) – вспомним отзыв А.П. Чехова о "Тамани": "Вот бы написать такую вещь, да ещё водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!". Совсем не случайно выделена именно Чеховым именно "Тамань"! К этой, почти очерковой, как бы нарочито не гармонизированной, "беспристрастной" и почти репортёрской прозе можно отнести и произведения Помяловского, Решетникова, а, пожалуй, и Гаршина (хоть тут есть и движение к "идее" – задевают-таки почти всякую художническую душу очень уж сильные наши классики). На самом-то деле "идеен", конечно, любой настоящий писатель. (И на самом-то деле "Тамань" ещё как гармонизирована – всё в ней драматургически замкнуто.) И на самом деле невозможно разместить в классификацию всю силу нашей золотой литературы (куда, например, определить Сухово-Кобылина? Да и Островский принадлежит не к одной) – и конечно, не нужно это. Мы только о

том, сколько обещалось в Лермонтове, и как это не только же мы вдруг поняли, а как это понимали люди куда раньше, куда, может быть, полнее и основательнее нас. И как не смущались же "сослагательным наклонением" Л.Н. Толстой и ещё многие!

Михаил ЖУТИКОВ

Три литературы

Вот мнение поэта и критика Нонны Белавиной *(доклад в обществе им. Пушкина, Нью-Йорк, 1964 г.):* "…Но ведь Лермонтову не было ещё 27. Что бы он ещё оставил нам, если бы прожил хотя бы на 10 лет больше, то есть столько, сколько прожил Пушкин?.. Может быть, он написал бы ту задуманную трилогию, которая, как он говорил друзьям, начиналась бы с войны 1812 года (предваряя этим замыслы Толстого), а последняя часть была бы посвящена усмирению Ермоловым Кавказа, Персидской войне и гибели Грибоедова. Во всяком случае, с уверенностью (курсив мой, авт.) можно сказать, что если бы Лермонтов дожил до зрелого возраста, то, судя по его прозе, мы говорили бы, перечисляя наших прозаиков, не: Толстой, Достоевский и др., а Лермонтов, Толстой, Достоевский и др." *("Фаталист", Сб. статей из наследия русской эмиграции, М., Русский мір, 1999 г.).*

Вот мнение критика и писателя И.И. Панаева: "Он дал нам такие произведения, которые обнаруживали в нём громадные задатки для будущего. Он не мог обмануть надежд, возбуждённых им, и если бы не смерть, так рано прекратившая его деятельность, он, может быть, занял бы первое место в истории русской литературы…" *(Воспоминания)*. Иван Иванович не дожил до публикации "Преступления и наказания" и "Войны и мира", но характерны же эти "если бы" и "может быть"!

Вот мнение В.В. Розанова: "Лермонтов мог бы присутствовать на открытии памятника Пушкину в Москве, рядом с седоволосым Тургеневым, плечом к плечу – с Достоевским, Островским. Какое предположение! Т.е. мы чувствуем, что, будь это так, ни Тургенев, ни *особенно Достоевский* не удержали бы своего характера, и их литературная деятельность вытянулась бы совершенно в другую линию. В Лермонтове была срезана самая кронка нашей литературы, *общее – духовной жизни,* а не был сломлен, хотя бы и огромный, но только побочный сук… Мы решаемся твёрдо это сказать, что в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые в совершенно иную и теперь неразгадываемую форму вылили бы *всё наше последующее развитие*. Кронка была срезана, и дерево пошло в суки". (Курсив мой, *авт.*)

А вот суждения Н.В. Гоголя – математически-выверенные, скупые: "Лермонтов-прозаик будет выше Лермонтова-стихотворца". То же после гибели его: "Тут видно больше углубления в действительность жизни – готовился будущий великий живописец русского быта". Добавим – и живописец правды чувств – живописец истинной, т.е. тайной человеческой жизни. (Отметим, как легко, не силясь, отвергает Гоголь будущие вымыслы господина Набокова, с его игровой мотивацией творчества, – как без надрыва, будто невзначай, заявлена серьёзность задач литературы.) И ещё добавим: готовился в Лермонтове и вершинный, и первый русский *мировой* классик.

…Но, быть может, несостоятельно, неубедительно использованное нами противопоставление двух "геометрий" в нашей классике и потому не так важно их объединение в одной великой душе? Вернёмся ещё раз к этим образным определениям: сопоставим *персонажей* той и другой литературы, сколько-нибудь сходных между собой по своему общественному положению, своим психологическим предпочтениям (поискам "смысла жизни", любви, истины, "интереса" и т.п.) – но по своей мотивации, внутренней манере, авторскому *освещению* столь же разительно различных, как различно поведение параллельных в аксиомах Эвклида и Лобачевского. Ну, вот хоть некоторые примеры.

Литература:
"эвклидова" — "неэвклидова"

Персонажи:

Онегин — Печорин, Арбенин;

Нехлюдов *("Воскресенье")* — Ставрогин *("Бесы")*;

Стива Облонский *("Анна Каренина")* — Свидригайлов *("Преступление и наказание")*;

Каренин — Сквозник-Дмухановский *("Ревизор")*, Порфирий Петрович *("Преступление и наказание")*;

Ротмистр Вронский, штабс-капитан Максим Максимыч — майор Ковалёв *("Нос")*, генерал Епанчин *("Идиот")*;

Андрей Болконский — Раскольников ("сходство" не в общественном положении, но в самолюбии, искании необщего пути);

Пьер Безухов, Левин — князь Мышкин, Иван Карамазов;

граф и графиня Ростовы — Варвара Петровна Ставрогина, Степан Верховенский *("Бесы")*;

Кирсановы *("Отцы и дети")*, Лаврецкий *("Дворянское гнездо")* — Карамазов-отец (а в смысле сословного "родства" – Манилов и компания);

Обломов — Чичиков;

Иван Ильич Головин *("Смерть Ивана Ильича")* — Иуда Головлёв;

Рудин, Базаров *("Отцы и дети")* — Ипполит Терентьев *("Идиот")*;

Марк Волохов *("Обрыв")* — Пётр Верховенский, Шатов, Кириллов *("Бесы")*;

Анна Каренина — Настасья Филипповна *("Идиот")*;

Наташа Ростова — Аглая Епанчина *("Идиот")*;

Татьяна Ларина, героини Тургенева — Катерина Ивановна *("Братья Карамазовы")*.

Крестьяне, казаки, народ:

Хорь и Калиныч, Бирюк (рассказы Тургенева), Ерошка *("Казаки")*, Платон Каратаев *("Война и мир")* — Федька Каторжный, Хома Брут ("народ" уже с большой натяжкой – да просто нет в народе этого "неэвклидова"!!).

Разве не выражена межа, разделяющая эти типажи? – пусть не строго, есть пограничная зона, есть проникновения взаимные – но выражена всё-таки так, что почти не смешиваемы они? Точно о разном народе, что там – о разных видах человечества рассказано? Точно из другой совсем планеты или как-нибудь из Гофмана, Босха или из снов каких тяжких выведены эти Лебядкины, Башмачкины, Ноздрёвы, Голядкины, Головлевы (а позднее булгаковские Кальсонеры, Шариковы, Лиходеевы – ещё один "неэвклидов" классик)?

У Гоголя нет вообще сколько-нибудь "положительного" персонажа (кроме опоэтизированного Тараса Бульбы, да ещё разве Костанжогло, разбогатевшего… на винных откупах, то бишь на держании кабаков – а где бы Николай Васильевич взял положительного и богатого?) Есть персонажи любимые – как обожаемый автором (и читателем) Чичиков, как Акакий Башмачкин, но что же в них положительного? Есть персонажи очень смешные и оттого симпатичные читателю. И практически нет "эвклидовой аналогии" персонажам фантасмагории – Лебедеву ("Идиот"), шуту Лебядкину ("Бесы"), Хлестакову, Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу… А вернёшься к "Обломову" или вдруг такому, из "Онегина":

Но муж любил её сердечно,
В её затеи не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил –

что это?! Ведь это же иной мир! Иные вовсе причины жизни, иная её тайна… Вовсе, вовсе иная! Иная русская жизнь. Как же это, где же… правда??

Вот об объединителе-то, потенциальном соединителе этих (всех трёх) наших великих литератур – разных их глубин, психологизма, разных освещений, подходов, приёмов (так и оставшихся по сей день не соединёнными) – пытаемся мы сказать наше безыскусное горестное слово. И о том, как *успело бы к сроку* то объединение…

Ведь к вышеприведённой нашей градации можно бы добавить и третью – где означилась бы только безыдейная, на вид, правда, как она есть: "Тюфяк" Писемского, проза Лескова, тяготеющая к притче, "Растеряева улица" и вся проза Глеба Успенского, тяготеющая к надрывающему сердце очерку, "Подлиповцы" Решетникова, чеховские "Моя жизнь", "Скучная история", "Чайка", "Дядя Ваня" и т.д. – но не хочется усердствовать дальше в классификации, а хочется уйти от условности и тоски её разделения, – хочется соединить опять потоки литературы нашей золотой, как соединилась вся она, золотая, в неповторимом "Герое нашего времени".

О Печорине и самом романе написаны тома. Прибавим только полсловечка. Отчего мы любуемся героем? Мы любуемся грацией эгоизма, не считающегося ни с чьим правом, как любуются грацией тигра. Но нельзя не заметить в нём благородства: он справедлив – качество и просто редкое. Печорин не оперный злодей, история его злоключений это итог своего рода "воспитания чувств". Это "становление личности" в среде отравленной, где "становление" оканчивается душевной амнезией (как в советские времена алкоголизмом). Великие запросы порождают великое забвение – спасительное равнодушие, самозащиту духа. Он отчаялся *найти*. Он и прямо говорит: "Я не угадал этого назначения, я увлёкся приманками страстей пустых" и т.д. Это страдание без блага и благодати, – на момент описания уже хроническое, перемежаемое попытками пробудить, взбодрить себя. Было ли оно, это назначение? Говорят: поприще, но что есть цель поприща? Если деньги и власть, так это для гоголевского городничего. Отчасти Григорий Александрович бесится и "с жиру", являясь в этом отношении преемником Чаадаевых-Белинских в их худшей ипостаси и предтечей самого никчемного, что есть в России – её прожектёрской интеллигенции, отодвинутой от реальных дел – но власть (не над умами, над людьми) он отвоевывает не поношением отечества, не ротшильдским изворотом и не начальственным лампасом, а всегда личным риском, рискуя собой – как истинно власть имеющий! У него нет любви – как нет цели поприща: ведь родина, на служебном горизонте, подменена петровской неметчиной (с новейшей примесью дантесов-барантов, да с потугами латынской подмены правды – "правом", да дремучей грязью двора), а любви… Нет любви оттого, что велика потребность её поглощать, да это ли качество особенное? Не от отчаяния ли и оно? – как бывает порой у женщины, втуне любви искавшей? Он, кажется, желал бы полюбить? Служение (а служение всегда означает служение *вере*)? – но до веры долог путь соблазнённой, изломанной души.

Прибавим полсловечка и о романе (вот уж где поистине нужно отделять героя от автора). Гений художника начинается с любви к реальному – реальной земле с её жалкой (и непокорной) Таманью и с её балбесом (и отчаянной башкой) Азаматом, – с видения её и творений Божиих как они есть – и тогда только, может быть, видения на ней и сора, – да только есть ли ещё тот сор (точно вопрошает автор), сорто, может быть, в учёных головах… В этом даре авторской любви – разгадка знаменитой *благоуханности* прозы; великое сердце уравновешивает в ней аналитика, – но сколько уже и просто объяснено 25-летним автором! В романе нет лишнего слова; мысль не вуалируется им, достигая цели с прямотой тоннеля.

Главы романа названы по именам жертв Григория Александровича: Бэла, Максим Максимыч, Тамань, Княжна Мери, Фаталист. (Тамань – его жертва собирательная, разорённое им гнездо.) "Я был необходимое лицо пятого акта…", "Как орудие казни, я упадал на голову обречённых жертв, часто без злобы, всегда без сожаления…".

Но отчего, к примеру, Бэла, Максим Максимыч – обречены? Только от их чистосердечия, непонимания предательства? – или они лишь случайно зацеплены – в ослабленной черкесской семье (Бэла украдена братом для Печорина), среди армейской скуки (Вулич, Максим Максимыч)? Отчего княжна Мери Лиговская – жертва его игры, завлечения: опять случайно встреченная невинность? И Тамань, Фаталист – всё только случаи на пути? Чем виновен Грушницкий – одним всё тем же невезением попасться ему на дороге?

Но что-то есть в них всех уже ослабленное, неверное, нестойкое, – что Печорин только добивает. Слабина российского уклада, отход от архетипа (русского, черкесского, православного сербского!) – причина их ослабления, нестойкости, ложного порыва к личности незаурядной и разрушительной, бросающей людей, как надоевшую игрушку… Он сам уже всё испытал, ему всё надоело; он сам отошёл от русского архетипа: это погружение личности, лишенной глубокой веры, в "цивилизацию песка"… Он провокатор Вулича и Грушницкого, слепого мальчика и соседской девушки и он сознает это и анализирует себя по ходу провокаций, – и вдруг о таманской хате замечание: "На стене ни одного образа – дурной знак!". Эта внезапность оборачивает образ иной стороной. Он слышит утрату важного вовне и в себе самом.

Вот он наедине с Грушницким:

"…Я лгал. Но мне хотелось его побесить. У меня врождённая страсть противуречить; целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу или рассудку. Присутствие энтузиаста обдаёт меня крещенским холодом…". Грушницкий еще не чувствует, что начал проигрывать; он занят одной княжной, но неосознанно уже "потёк" и обречён. Ему наносится удар за ударом, добивающие его. "…Лицо у него вспыхнуло, глаза засверкали. – Стреляйте, – отвечал он. – Я себя презираю, а вас ненавижу. Если вы меня не убьёте, я вас зарежу ночью из-за угла. Нам на земле вдвоём нет места… Я выстрелил. Когда дым рассеялся, Грушницкого на площадке не было".

А вот контрабандист Янко:

"Послушай, слепой, – сказал Янко, – ты береги то место… знаешь? там богатые товары… скажи (имени я не расслышал), что я ему больше не слуга: дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти. Да скажи, кабы он получше платил за труды, так и Янко бы его не покинул…".

Они все уже, как говорят шахматисты, "плохо стоят" – им как будто не хватало печоринского толчка, чтобы потерпеть катастрофу, – съехать с места, сгинуть из жизни.

Это глубочайшее чутьё автором слабины уклада, прозвучавшее уже в "Думе", "Бородине": "Богатыри, не вы…". Незанятость, невостребованность богатырских потенций России – нет задачи по плечу – обращает её обитателей в рассеянную массу, гибнущую саму в себе без внешнего неприятеля. (Не узнаёте похожего?) Скучна, нерадостна им всем жизнь без великой задачи, без "адреналина" – великих борений и одолений. Словно слабина народа – в самой его силе! И сам он, Печорин, таков:

"Я, как матрос, рождённый и выросший на палубе разбойничьего брига; его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от бледных тучек желанный парус…".

Итак – быть может, это покажется натяжкой, но это совсем не гадательно, – в погибшем Михаиле Лермонтове предположительно утрачена существенная (реальная во времени) возможность *объединения* разных психологических "геометрий" в чём-то более общем и высшем, соединения национальных притоков, – и как следствие (быть может) – возможность объединения российской нации (на образованном уровне) – вещь, заметим, при нашем влиянии литературы на умы, за бесцветностью влияний и умов, совсем не столь невероятная. Речь не идёт о слиянии "западников" и "славян" или "правых" и "левых" – эти и подобные разброды поверхностны и потому несоединимы! – речь идёт о соединении более глубинном и первичном – которое с поры, может быть, царя-антихриста, собственноручно рубившего головы стрельцам, давало всё углубляющуюся трещину, из которой вышли не правые и левые, а невозможность им вместе существовать (частный пример: ссора М.А. Бакунина и издателя М.Н. Каткова на "идейной" почве; страшная ссора Толстого и Тургенева 27 мая 1861 г. из-за взглядов на воспитание тургеневской дочери, разведшая их на 17 лет! – обе едва не кончились дуэлью: чем не Франция?).

Единение это могло бы произойти, как представляется, не в умах "идеологических" (которых в таком количестве, как сделалось потом, и не было), а в умах иного… склада; не из беллетристов, а практических, – без того сбившихся (совсем чуть-чуть, может быть) с тона – или не взявших необходимой высоты чувства или взявших её с небольшим (чуть-чуть) опозданием и составивших поначалу разброд, а затем поляризацию общества. (Высота же требуемая вся-то, быть может, состоит только в том, что имеется действительная возможность жительства человеческого сообщества НЕ с позиции силы, т.е. не сдуру по "экономике" или "идее", – при том, что без силы, равно как без экономики и без идеи, жить, понятно, никак нельзя; но это мы *теперь* в силах осознать, это легко *теперь* говорить.)

"…И, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в своей душе силы необъятные".

(Полностью глава из книги опубликована на нашем сайте **denlit.ru**)

Букет Михаилу Лермонтову

К 200 дню рожденья

ПЕЧОРИНЪ

Живётъ въ душе моей Печоринъ,
Холодный, лёгкий,
пламенно-безстрастный,
Нещадный на языкъ
в неподцензурномъ споре
И для сердецъ влюбившихся опасный.

Въ бою, какъ на балу, ему нетъ равныхъ,
Изысканъ,
и когда наводит пистолет.
Въ глазахъ Максимыча
онъ "малый славный"
И тема сокровенная беседъ.

Печоринъ – пращуръ белыхъ офицеровъ
И эталон высокій человека,
Как предковъ памятник, безцененъ
Герой любимый Золотого века.
2009

ИЗ "ВИДЕНИЙ СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЫ"

Я от бессонницы вся побелела,
Я пудру сахарную ела,
чтоб спать,
Но стала лишь белей.
Тогда светильник-светлячок зажгла
И Лермонтова наугад открыла:
"С тех пор как мир лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Под солнцем юга не цвела..."
Меня толкнула радостная сила,
И зеркало в венке серебряных ветвей
К лицу пылающему поднесла:
Бела,
румянец проступает, как заря,
Брови, что крылья сокола в полёте,
Волосы – закат из янтаря,
Уста – поспевший плод, да не сорвёте,
И в зеркало ударила, как в бубен,
И заплясала я в кольце теней...

И вдруг вошёл безшумно Врубель
С палитрой в раме из ветвей.

НАБРОСОК ПОСЛЕ ДУЭЛИ

...А если б и Мартынов
выстрелил в лицо небес
И с Лермонтовым они бы обнялись –
Так два орла взмывают ввысь
В лучах, схлестнувшихся наперехлест.

"Прости, брат, мелочность личных обид,
Помутивших тщеславный рассудок,
Это ты - России великий пиит,
За кровь твою распроклят буду.
Прости. Фунт нашей славы
Дороже заморской трёхста пудов.
Прости, попутал лукавый,
Мне уж за честь, что с тобой знаком".

И с Лермонтовым распили
Они б за дружбу молодого вина –
Тогда б никогда на полях России
Не грянула братоубийственная война.

* * *

Устали все от геростратов:
мартыновых, дантесов, юровских,
богровых, гаврилопринципов
цинично-безпринципных,
увы, увековеченной историей лукавой,
когда бы надо их из памяти стереть;
может, тогда б они, тщеславные,
не стали б руку на святыни поднимать.
Впрочем, зло творится ради зла.

Маргарита СОСНИЦКАЯ

ДОРОГА

"Выхожу один я на дорогу..."
Но не страшен мне далёкий путь –
Путь познанья Истины и Бога –
И теперь с него мне не свернуть.

Напоённый голубым рассветом,
Мир земной встаёт как исполин.
Только он содержит все ответы
На вопросы детства и седин.

Мир туманов, солнца и закатов,
Мир бескрайней золотой мечты,
И теперь уж нет пути обратно,
Если веру ты в себе взрастил.

Жизни путь так долог и извилист.
В нём любовь, разлуки, встречи, смерть.
Жизни явь, конечно, не приснилась,
Надо лишь прожить её суметь,

Удивляясь, радуясь, печалясь,
Помогая теплотой своей,
Крепость духа, мудрость отдавая –
Звёздный свет – опору для людей.

И когда желаньям нет покоя,
А в груди живой огонь горит, –
Сердце с сердцем и душа с душою
Как звезда с звездою говорит.

ДАЛЁКАЯ ЗВЕЗДА

"Светись, светись, далёкая звезда,
Чтоб я в ночи встречал тебя всегда…"
М.Ю. Лермонтов

"Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом".
Он не спешит к земле далёкой.
Лишь в море кров его и дом.

А море бережно целует,
То всколыхнётся, то замрёт,
То заворчит, но даже в бурю
Песнь нежности ему поёт.

И парус мчится, рассекая
Просторы синие глубин,
Уверенный и гордый, зная,
Что с морем-другом он един,

Что каждый вечер, чуть засветят
В тумане звёзды... И тогда
Своим мерцаньем чудным встретит
Его далёкая звезда.

ТУЧКА

"Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана".
Ранним утром вдаль она умчалась,
Стаю дружных тучек догоняя.
И они кружили над простором
Синих вод, серебряных полей,
В снежных шапках им кивали горы –
Каравеллы белых лебедей.
Но одна полёт свой задержала,
Ведь утёс тот в сердце к ней приник.
На прощанье нежно целовала
Его строгий и печальный лик.
Вспомнив, как счастливая, дремала
На груди утёса-великана,
Белыми пушинками роняла
Свои слёзы в бездну океана.

Марина ЛЮБИМОВА